

**П.Н. Краснов**

**Пой, скворушка, пой**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
К77

**Краснов П.Н.**  
К77 Пой, скворушка, пой / П.Н. Краснов – М.: Книга по Требованию, 2021. – 52 с.

**ISBN 978-5-4241-2779-3**

Петр Николаевич Краснов родился в 1949 году в селе Ратчино, в Оренбуржье. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, работал агрономом. В 1978 году после выхода первой книги "Сашкино поле" принят в Союз писателей. В 1983 году окончил Высшие литературные курсы. Рассказы и повести публиковались в журналах "Наш современник", "Дружба народов", "Молодая гвардия", "Литературная учеба", "Москва", "Новый мир" и во многих других периодических изданиях, коллективных сборниках

**ISBN 978-5-4241-2779-3**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© П.Н. Краснов, 2021

Краснов Петр  
Пой, скворушка, пой



# I

Не задалась весна, будто по какой-то кривой обошла, объехала эти места. Уже и сроки ее на исход шли, весны апрельской, больше всего когда-то Василию желанной, еще с парнишек; но ни тепла того, леденистого еще, хрупающего утренней легкой изморозью, непередаваемо свежего в робости первой, ребячьей своей, ни света ее особенного, в красноталах играющего, высветляющего все в тебе, все надежды, позаброшенные за давностью и тягостью лет, — ничего этого толком не означилось почти или было частью упущено, может, им за суетою, за делами, которые наваливает на хозяина сельского подворья всякое межсезонье.

А март раскислил было снега, задолго до положенного ему на то времени проталины объявил, оголил многодумные лбы обступивших село невысоких степных взгорий. Но потом морозцы пошли, один другого вздорней, не отпускающие даже в полдни, тот самый подкузьмил марток — наденешь двое порток; и тянулись они, сбавляя помалу, чуть не до середины апреля, а следом ветра поднялись холодные, все больше восточные, хмарь всякую неся, невидя как сгоняя недужный уже снег, малой куда-то расточая влагой его, по овражкам, не говорливым нынче, по логам сочащимся спроваживая, — не видели воды.

Он поселился здесь, в доме отцовском полузброшенном, еще накануне масленицы, больше ему негде было и нечем жить. К сестре Раисе в город лишь проездом заглянул поутру, ключи взять; побрился с четырех почти суток дороги, перекусил, чайком пополоскался, говорить не хотелось ни о чем, хотя лет уже семь, если не все восемь, как не виделись: ну, написал же все в письме... лучше по делу давай. "А что — дело? — вздохнула скорбно сестра. вернулся — ну и живи, раз так, избу все равно никто нашу не берет, некому. Глухой самый угол — Шишай наш, разбегается уже. Собирался было там один беженец купить, нюхал ходил, приценился, я уж и цену до скольких раз сбавляла, по-божески — нет, не собрался что-то".

"А я и сам-то кто?.." — сказал Василий и впервые, может, за всю встречу раздвинул в подобии улыбки губы; и не сразу спохватился, щербину свою вспомнил, прикрыл грубой ладонью рот. Сестра отчего-то испугалась этой попытки бледной, на что угодно похожей, только не на улыбку, торопливо сказала: "Ты, это... не надо так-то. Прймай, что послано. Бог даст, проживешь..." Совсем погрузнела, обабилась за годы эти сеструха старшая, десятка на полтора состарела, уж не меньше, и сырой стала, слезливой, в веру вдарилась, все углы в иконках. От ночевки сразу отказался, ни зятя на обед, ни племянниц с учебы ждать тоже смысла не было, сказал: "Навидаюсь еще, надоесть успею..." — и засобирался. Надоедать, конечно, и думать не думал; а собраться и вовсе минутным было делом: все порастерял нажитое, порастряс, только и осталось, что чемодан старый, студенческий еще, да рюкзак — как оставил в прихожей, так и стояли они там, дожидались. И поторопиться стоило к автобусу, подстраховаться; а к самому Шишаю еще и попутку ловить...

Что-то притомила его дорога, по городу не шел — брел почти, бездомный, озирая чужие словно улицы наспех вылощенного пластиком и тонированным стеклом центра, где лезла настырно на вид, щерилась всюду и подмигивала блудным глазом реклама, бабье во всех видах, все на продажу — сиськи, попки,

письки... Из-за угла вывернул на дурацкой скорости, чуть не сшиб его здоровенный, разукрашенный, как елка, джип — крупный воруга, видно, сволочь. Тащил-ся, всему здесь чужой тоже, ненужный этому пустому, какой-то смысл свой потерявшему многолюдью; а стояло за угол свернуть и квартал всего пройти, к автовокзалу, как пошла старая, куда как знакомая и донельзя запущенная теперь и грязная застройка, хлам ее всякий, ничего-то оно тут не переменялось.

Стылым встретила изба, холодно-прогорклым теперь духом, который ни с чем и никогда не спутаешь и не забудешь, — прошлым, какому не вернуться. Уже сумерки копились по заброшенным углам, и некогда было сидеть, оглядываться в родном, не то что почужевшем, но как-то отстраненно и пытливо глядящем на тебя со всех сторон обиходе: каким вернулся?.. А ни таким, ни разэтаким. Никаким.

Через темные сенцы в сарай прошел, куда светлей там было от пролома в рубероидной крыше, под которым наваяло за зиму плотный язык снега. Дров оставалось на неделю в обрез — вот и работа, главная пока из всех. В дальнем углу, правда, полуосыпалась источенная мышами и временем скирдushка кизяка незнаемо уже каких лет, механической — из-под пресса — выделки, когда еще отец жив был, мужиков помоложе нанимал за магарыч к прессу, самому-то неспособности было уже с вилами при спешной такой, в измотку, работе. Сгодится и кизяк, даже и крошево его можно засыпать в печку через кольца плиты, как уголь; но это уж так, на крайний случай, не топка будет — слезы.

Облупилась вся и будто похилилась голландка, а вроде б, сестра говорила, в исправности. Подложил для пробы дровишек помельче, запалил газеткой пожухлой из целой стопки их, прихваченной в сарае, едва ли не советских еще времен. Горький, саднящий чем-то в горле дым пополз из нее, полез, хоть руками его туда, назад, заталкивай. Все двери пооткрыл наружу, а не налаживалась пока тяга. Стоял, курил на косом крылечке, оглядывал ненарушимый покой знакомых до каждой впадинки увалов по закатно розовеющему уже из-под туч окоему, северного взгорья Шишая тоже, по какому и названо было когда-то сельцо. И постройки его состарившиеся мало в чем прибавились, бедняцкие, если сравнить с краями, где его покидало-помотало... что, хуже других работали? Нет, никак этого не скажешь. Доля другая, вот что.

Заглянул еще раз в избу — не подвела все ж старая печура, с побряхтыванием каким-то сторонним, чердачным будто, но загудела, вобрала в себя ближний к устью дым, прочистила воздух в печном закутке, хотя в обеих половинах дома все пласталась тяжело и холодно, застойно гарь и еще сумрачней показалось, и чем-то отчужденней стало, бесприютней... Нет уж, домок, принимай таким, какой есть. И дверей не стал закрывать, пошел к соседям стародавним напротив, Лоскутовым, — сказаться, чтоб не лезли потом на засветившееся ни с того ни с сего в избе-сироте Макеевых окно, на дым из трубы, не досаждали расспросами и разговорами.

Сидел потом перед открытой печной дверцей на самейке, отцом для того сделанной, курил опять, слушал умиротворенные уже потрескивания и шорохи прогоравших и опадавших в огненные пещерки углей, поиск и возно мышей за посудным шкафом. Думал, раскладывать пытался первые свои прикидки на здешнее теперь, в какой уже раз за все его скитанья новое житье-бытье... новое? Ладно бы, на тридцать восьмом году жизни да в ином каком месте, как до сих

пор было, с надеждой какой-то — а здесь ни новую начать, ни старую продолжить... Будто кругаля какого огромного, двадцатилетнего дал, и вот замкнулся он, круг, вернул его к тому, с чего начал, от чего с таким когда-то азартом оттолкнулся, насильно вернул и без всякого видимого смысла, носом безжалостно ткнул в старое свое, покинутое — и уж немилое теперь, в этом никак не мог он себе признаться...

Какое-никакое обзаведенье в доме оставалось еще: посуда та же, электроплитка, постель на материнской с никелированными поржавевшими дужками кровати и диванишко полуразвалившийся, сосланный из города сюда, ношенная-переношенная одежда, тряпье всякое в шифоньере и на вешалках, ящик с немногим инструментом — старее старого все, отжитое, но функционально, как Гречанинов говаривал, еще пригодное, не робинзоном начинать. Деньги на первое время есть, а дальше работу искать, не миновать. Сестра была здесь летом, семьей пожили с неделю, как могли прибрались в доме; а за избой шестой уж год, как матери умереть, соседи приглядывали, даже и ставен на окнах не закрывали — тоска иначе, дескать, улочка их к реке и без того прорезана: кто поумер, кто отъехал куда, за лучшей будто бы жизнью... а нет ее теперь для нас нигде, доброй, хоть разыщись. Терпимая если где, может, но уж не добрая никак. А откровенно кому сказать, то и злобой какой-то одержимая, упорной, непонятной и потому беспричинной будто, даже бездресной — ко всему. Но и этого некому было сказать.

Ночью кидала его по постели тоска. В полусне он не мог сопротивляться ей, и она ломала его как припадочного, виденья показывала свои, напрочь лишённые смысла, но оттого еще более безотрадные ему, безнадежные — ибо он искал смысл. А его не было, лезли какие-то хари торжествующей бессмыслицы и сиротства, и он заталкивал их обессиленными сламывающими руками, как дым в печку, а они лезли все и лезли, заполняли все смутно видимые во тьме, когда открывал он глаза, углы избы — его же избы, своей же! — и хозяйничали в ней, торжествовали над ним и здесь... И лишь далеко где-то в хороводящем злыми ликами, спертном ими и сырым печным жаром пространстве этом бессильно взлететь пытался и тут же сникал его ж собственный, он знал, за отдаленностью надмирной им самим еле угадываемый голос, выкликал: "Сы-нок... сы-нок..." Сына звал, ждал помощи от него — это от маленького-то, пятилетнего? — и не мог дозваться.

Нет, так нельзя больше... Изломанный весь, изнуренный ночью этой, сидел угнувшись на постели, в опорки валяные сунув голые ноги, озирался на стены свои, на плачущие нутряной слезой, мутным рассветом занимавшиеся окошки, на иконку сиротливую Николы, кажется, оставленную сеструхой на опустевших угловых полках иконостаса в переднем углу... Нельзя. Надо по-другому как-то, иначе так и пойдет, достанут эти ночки. Давно уже достают. Работать, в работе только, другого ему не было.

В избе, с вечера жарко вроде бы натопленной, сильно поостыло уже, воняющий мышами воздух вовсе влажным стал и тяжелым: отсырела вся и намерзлась она тоже, изба, нахолодалась за столько лет, не вот прогреешь, из чернолесья разного собранную отцом в шестьдесят четвертом, кажется... ну да, ровесники они почти с нею, мать уже с пузом, с третьим с ним, штукатурила ее и обмазывала, обихаживала. И в нем самом, человеке, как в строенье всяком, и глина есть своя, верно, и дерево, и камень — и все временем, дурнопогодицей рушится, всяк

в свой черед, успевай латать. И покривился, дневной трезвостью своей усмехнулся: вот-вот, и крыша поехала уже — соломенная твоя.

И здесь только, нигде больше, вспомнишь прежнего себя, чтобы, может, понять: уже давно и не ты это, не то совсем, а иное что-то теперь, изломанное и грубое, с пустотой спертой внутри и темью — будто середку вынули... посмотри только, стал кем. Что, одно лишь и осталось, что существование тянуть, чтоб уж до отвратности, до тошноты неодолимой довела она к себе, жизнь, изничтожила и уж тогда — отпустила, оставила?..

Работать. Дом оттапливать и прибирать, за водой вот сходить, похлебку сварить какую-нито, за дорогу все кишки переел уже сухой. А для того калитку откопать из снега, дорожку, вчера через изгородь пришлось лазить, и картошки-морковки достать у людей, прикупить того-сего — вот о чем думай. И банюшку бы свою древнюю глянуть, подлатать, если надо, помыться-постираться... много чего надо, с одними дровами мороки сколько, неизвестно, где их и брать-то. Небось уснешь, когда наломаешься.

Но если бы так — помогало если бы... Ан нет — даже в многолюдье осточертевшем и суете общаг, барачков ли, казарм, всяких ночевков случайных, несчетных, после сверхурочных и совмещенок разных, да хоть в Днестровске последние полгода, вот уж где вкальвали. А не в этом, само собой, дело. Когда-то все сходило, как с гуся вода, спал как убитый... да, чуть не убитый при Дубоссарах, страх тот свой до сих пор из себя не выковырнуть, что-то вроде татуировки теперь дурацкой на плече, в техникуме хмырем одним давным-давно ему наколотой; а сменился ночью с поста, из окопа боевого охранения, кружку вина кислого хватанул и даже есть не стал, не мог, в тылу ближнем приткнулся среди ребят в каком-то сарае на соломке с тряпьем и уснул, как провалился. Наутро пережил заново все, вчерашнее представляя, опять считал: пять минных, крупного калибра, разрывов шагали поперек поля с равными по времени и шагу промежутками, кто-то методично там доворачивал, на одно или два деления переводил прицел — пять, шестая мина его... Прямо на окоп ложилась, на полсотню метров выдвинутый вперед под кусток; и какой, к черту, окоп-воронка старая, ими подрытая малость вглубь, ни от чего она теперь не спасала. И бежать — некуда и страмотно на глазах у своих, и не убежишь уже, опоздал бежать. Пятая заложила уши и землю тряхнула; и его будто приподняло за шиворот и тряхнуло тоже, осыпало комьями, мелким секущим камешником... Теперь твоя. Ждать уже не оставалось времени — что-то замешкались там? — кончилось время его, а он все ждал. И вой-свист опять, спешащий к нему, избавление несущий от этого ожидания-согласья его, уже он согласился на все, — и разрыв сзади где-то, за позициями их отряда... Вслепую по площадям шмаляли, видно, перенесли прицел; а он не то что замер замерз в ожидании, колотило как в лихоманке, никак согреться не мог...

Стал жить. Что-то соседи подбросили, подсобили, за чем-то в город пришлось доехать — хочешь не хочешь, а с ночевкой у сестры. Только и хорошего, что помылся. Упрекнула было опять, не утерпела сеструха, им бы лишь поюниться, поукорять: что ж на похороны-то не приехал, маманьку не проводил?.. По пустословью бабьему, понимал, пустодумье прикрыть, будто знать не знала, что из Тирасполя как ни прыгай, а за полтора дня никак не поспеть, — сама-то задницы не отрывала, век дома просидела, лишь в центр областной когда за бараклом; но

кровь темная, старая обида кинулась в голову, сказал, не подымая глаз: "Ну ладно, плох я... А ты-то, хорошая, Мишку обмывать не прилетела почему — прямой же был до Алма-Аты, два всего часа лету?! И билеты дешевле дешевого... сколько, тринадцать уж лет тому? Проторговала братку на барахолке на своей, прибыль пожалела... А я один там корячился, без денег, без... Совесть куда денешь?.." В первый раз высказал, доняла. Отпаивать зятю досталось, зашла: "А я рази ви... виновата рази, что с папаней ин... инсульт был?.." Врет, первый криз у отца только через неделю случился, как после узналось; а уж хоронить его Василий из Актюбинска приезжал, поближе перебрался было к местам своим. Может, тогда и надо было вернуться сюда, к матери, — нет, еще дальше черт понес...

Лучше на вокзале перекантовался бы, чем ночевка такая. Раиса, из всех старшая, себя всегда особняком держала, а замужем и вовсе, любую подмогу свою в счет ставила. При встречах, в письмах ли — только и разговору, сколько на лекарства отцу-матери истратила да что им из старья своего свезла-сбагрила, торговка; и когда уже с Иваном они, братком старшим, учились тут, то лишь проведать иной раз заглядывали, по наказке по родительской обязательной: роднитесь... Торговой уже точкой заведовала, кооперативом потом; покормить покормит, а если десятку когда сунет, то на двоих. А как сокрушалась в письме к нему ответном, какой-то месяц всего назад, что избу никто не покупает, чуть не со слезой, не с причетом, — хотя, может, и пятидневной выручки ее не стоит она тут, изба. Дочерям-то, впрочем, по квартире уже куплено давно и обставлено, зять на иномарке катается, на даче азиаты живут, что-то ей выращивают, — вцепилась в жизнь сеструха.

Так что можно было, пусть и с натяжкой невеселой, считать, что ему еще повезло, а то хоть в бомжи. На дачу к Раисе, по-родственному.

А весна тянула — и с теплом, и со всем остальным, чего от нее ожидали. Ничего не ждал от нее, может, лишь он один... или уж все их, ожиданья отпущенные, порасходовал без толку, поразмотал? Да и сколько им ни быть, не обманывать.

## II

С дровами через неделю дело решилось: за две ездки с Федькой-Лоскутом к брошенной и полурасташенной уже ферме приволокли на тросу с десятку бревен, одно теперь оставалось — пили, коли да складывай. Лоскут поставил свой трактор-колесник на горушку, помагарычить зашел.

— Да-к ты надолго ль? — спрашивал не в первый раз, оглядывая бедняцкий, ему-то куда как знакомый обиход избы, тетешкал стакан в руке Федька. Пил он трудно, и нехорошей была эта примета: такие и останавливаются не сразу, с трудом. — А то да-к еще притартаем дровья, что нам...

— Не знаю. — Паспорт свой, малость подумав, он уже отдал в сельсовет, на прописку; а выписаться, в случае чего, недолго. Нет, умница все ж Гречанинов — уговорил, еще в Днестровске гражданство ему российское выхлопотал: какая-никакая, мол, а мать... Мамаша, нечего сказать. Отбрыкивается от детей своих как может, и наглядился он, сколько люду русского мотается теперь без призору всякого, отовсюду ж гонят нас, где обжили все, обустроили, измываются как хотят... — Как сложится.

— Ну и складывай. А то скучно, — пожаловался Лоскут, моргая рыжими ресницами, и все лицо его блекло-рыжим было, безбровым и будто выгоревшим, одни глаза голубели по-младенчески бездумно как-то. Лет на несколько если старше его, не больше, и детвы полон дом, сразу и не сочтешь- четверо, пятеро ли. — Скучная нам житуха, Васек, пришла — не сказать... Ни работы путевой, ни веселья. Так, промеж пьяни все... вполпьяна. А ты б, может, бабенку какую — помоложе, ребяток бы; оно б, глядишь, и...

Василий дернулся, враждебно буркнул:

— Что — «глядишь»? Куда — глядеть?

— Ну, как: в жизнь... Как же-ть с твоими-то случилось? Прямо и сына, и... Кто она тебе, жена была?

— Как случается... — Сеструха разболтала, всех известила — хотя о своем-то каком деле или интересе словечка у нее не вытянешь, у хитрованьи. Ну, родню не выбирают, да и не из кого уже — какая ни есть, а одна из всех осталась... Да вот соседи. Но и рассказывать о своем, тем более жаловаться тоже отвык давно, отучили добрые люди. — Мы, Федьк, давай это... без этого. Что нам, поговорить не о чем?

— Не, я ничего... — будто сробел даже Лоскут. — Как — не о чем? Шабры, чуть не годки, считай... Так что делать-то думаешь?

— Да вот, — первое попавшееся сказал он, — маракую: сажать ее, картошку, нет? Там никто на деляну нашу не сел?

— На речке-то? Не-е. Ну, Ампилогов в первый год как-то сажал... отсажался. Да-к без картовки как тут жить? — Он так и говорил — «картовка», на манер всех Лоскутовых, как мало у кого держался у них в роду старинный «разговор». И в самом деле, как? — Не, пропащее это дело. А тебе тогда, брат ты мой, погреб перекопать надоть, вконец рухается. Сам глядел: бабка, мать твоя, просила, я и лазил — за капустой, тем-сем... Отсеемся вот и махнем в лесхоз... что тебе, дубков на накатник не выпишут? Или пару плит притащим, бетонных; но, знаешь, холодны для картовки, погребку над ними тогда надоть...

Сидели, говорили — больше Лоскут, шишайским кислым самогоном разгоряченный и памятью, она у него как цыганкин карман оказалась, безразмерный, чего не вынимал только; и неожиданная зависть взяла: сидеть бы ему дома, дураку, никуда не высовываться, счастья дурного не ловить на стороне — глядишь, целее был бы.

О ком жалковал сосед, так это о младшем, Мишке: ладный какой же был парнишечка, незлой, что ни попроси — сделает... да и ты-то — веселый же был тоже! И он соглашался — да, из них, братьев троих, самый башковитый Мишка был, тройку из школы редко принесет когда, и учителя его любили, не то что нас обалдуев... Лоскут кивал усиленно, махал руками: ну, а когда Семена Вязовкина в траншее придавило, в силосной — вспомни! — это ж он один из мальцов из всех сообразил, Мишка... скок в трактор, первую врубил и вперед! А то б замяло мужика под гусеницу, инвалидом навек... Василий не помнил — в отъезде, видно, уже пребывал, в техникум дружки сблатовали учиться, в индустриальный. Это его-то, кому по характеру век бы на земле сидеть, земляным бы делом жить. Как он был мужик мужиком, так и остался им это-то в себе успел понять, узнать...

И Мишку — зачем он Мишку сдернул на юга эти проклятые, когда ему б учиться, пусть бы на одних корках хлебных, а учиться?!

Бутылка пустая была уже, а на душе тошней некуда... Деньги достал, сунул Федьке: "Сходи, литровку возьми сразу... что за ней бегать то и дело, девка, что ль? Не мальчики. Помянем братьев моих".

Дело к ночи шло, и пока Лоскут ходил, самогонку искал, он растопил печку. Вспомнилось, как ходил с Иваном в кусты по речке, сушняк всякий и хворост на растопку собирать — чем-то их надо было разжигать, кизяки, а других дров тут сроду не водилось, степь. Братан, как старший, топором орудовал, а он стаскивал все в кучи на опушку, продираясь сквозь заросли умерного, первыми заморозками прихваченного уже и сыпавшего узкой листвою ивняка. Потом Ванька, скинув с себя все, даже и трусы, в несколько саженок перемахивал студеной, едва ль не до дна проглядываемый омуток со сгнившей вершей на берегу — тогда уже закалялся, в военное готовился училище, — и они сидели на жухлой траве у костерка, отца ждали, который должен был подъехать за хворостом на рынке\*; скотником вечным был отец, от него и пахло-то всегда сеном с силосом и навозом. По-осеннему тихо и пусто было на речке, и лишь отдельные невнятные клики дальней, пластавшейся где-то над селом грачиной стаи доносило сюда — звали, тоскливые, куда-то лететь отсюда, из немоты этой, безответности земной и небесной, к иному...

Склады боеприпасов под Хабаровском рвануло так, что даже и в глухой ко всему, кроме дележки власти и деньги, столице услышали. Гадали, толковали диверсия ли, о жертвах и вовсе как-то невнятно сообщали, вроде как о пропавших без вести, потом быстро замяли все это вместе с разговорами и какими-либо упоминаниями — не было, нету... Извещенья и тела без огласки, как водится, рассылали-развозили, и что там от капитана Макеева запаяно было в гробу — знали, может, сослуживцы лишь одни, жене с дочкой не показали. С похорон от невестки, какую он и в глаза-то никогда не видел, только письмо получили с фотокарточками — яркими по-нынешнему, словно бы и праздничными, когда б не лица и красным с черным обтянутый гроб в нарядном цветнике венков... все расцветено теперь радужной какой-то, зазывно-яркой гнилью, и чем разноцвет-

ней, тем гнилее. Чего доброго, а хоронить научились, попривыкли. Чуть не месяц по раздербаненной, с последних катушек съехавшей стране шло к нему в Днестровск письмо, нет-нет да переписывались с братом, адреса-то имелись; и за поздало и оттого, казалось, еще мучительней гнуло хотя к чему он мог успеть, к кому? К Ивану, солдату? Так он и сам по тому же краю, под этим же ходил, и судьбы не запередишь. Но мать, как мать-то с ее сердцем больным снесла все, перемогла?.. А только что женился как раз, в долгах как в шелках, следом и переезд затеяли к тестю на хутор из общаги при электростанции, где слесарил Василий несколько уже лет, где и с Оксанкой сошелся, — не вырваться, только и смог, что сестре дозвониться кое-как, через пень-колоду, через все границы...

А уже и задумка нарисовалась заветная, в какой уж раз: построиться, своим домом захитить и мать перевезти к себе, новая родня вроде не против была и земли хватало. Вариант подворачивался с кредитом, со сборно-щитовым домишком — главное, мать из Шишая, как из дожившей свой век, вот-вот готовой завалиться халупы вытатчить, пригреть, на сеструху надежды никакой, не хотела к себе брать. Но что в них, задумках наших, когда сама жизнь сдурела будто, вызверилась, бьет чем ни попадя и по чему ни попало, только успевай поворачиваться... Блокада со всех сторон навалилась, давили самодельную их республику как могли — ни продать ничего толком, ни купить, какие уж тут кредиты. А примак не то что кому другому — сам себе не хозяин: кошка хозяйская чихнет — и той здравия пожелай...

Федька прямо на глазах пьянел — все к той же примете; но разве что языком слабел и в словах уже малость путался, а никак не памятью... вот зачем она ему, спросить, такая? Все знал о Мишке о том же, об Иване, такое помня, о чем и он, брат, не ведал вовсе или напрочь забыл. О матери рассказывал, как она жила тут годы все эти: не сказать, чтоб уж так бедовала, Раиса подбрасывала временами кое-что на прожиток, но и хорошего мало, одной-то. Какой ни пустяк бывает дело, а все проси да плати, а мужикам нашим одно надо — натурой. Деньгами-то, что ни говори, а зазорно брать со старухи, да с ними еще и ходить надо, искать; а самое подходящее — чтоб не отходя от кассы: налил и... Оприходовал, да. Ну, куда деваться — гнать пришлось, заправски, жить-то надо. Райка ей то мешок-другой сахару, а то и сырца флягу подкинет — для самопалу, тот и вовсе за мое-мое шел, крепкий до сшибачки, она ж не мухлевала, когда разводила-то. Огород держала чуть не до последнего, поросят, курей да этих... индоуток для дочки полон двор, это ж сколько надо всего — сил, рук? Так и жила: ночь-полночь — все к ней, колобродят, стучат. Бабам, понятно дело, это не джоже нравилось, скандалить приходили; ну, а с другой стороны, рассуждал понятно Лоскут, наш брат свинья грязь везде найдет, гонят-то по селу вон сколь. Чемергес-то.

Василий молчал, уперев глаза в оголовки сапог. Лоскут не врал, в том и нужды не было. Оттого что скверней этого мира, слепленного из никем еще не проверенных догадок и надежд, из мук, страхов и царящей над всем этим неопределенности пустой и жестокой, может быть только правда о нем самом, мире этом... А то, что она одновременно и жестока, и пуста, он знал. Как и то, что от человеческого в человеке еще меньше добра ждать надо, чем от животной исподницы его... вовек не знать бы его, человеческого, не видать. Жить бы где-нито на кордоне, как лесничий тот днестровский, а если к людям, то в сельпо лишь. Бог отвернулся, говорят, — а что от нас ждать, от опущенных изначала?